

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА

УДК 94(47).084.2; 130(2)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЛИК РЕВОЛЮЦИОННОЙ СТИХИИ

И.В. Лихоманов

Новосибирское высшее
военное командное училище,
Новосибирск, Россия

graingar@yandex.ru

В статье рассматриваются социальные и социально-психологические предпосылки возникновения евразийства. Как идеология и политическое движение, евразийство возникло в 20-х гг. XX века, но его социальные истоки восходят к более раннему периоду. Евразийство – плод Первой мировой войны и революции. Активное участие в революции кавказских и азиатских народов Российской империи, а также некоторые черты революционной повседневности сформировали у части русской интеллигенции представление о революционной стихии как стихии евразийской. Этому способствовал сложносоставной характер русской идентичности, включающий представление о двух «душах» русского народа – «европейской» и «азиатской». Специфика евразийского восприятия революции и революционной стихии заключалась в переоценке значения «азиатской» и «европейской» составляющих русской идентичности. В общественном сознании XIX века «азиатская» составляющая воспринималась негативно, а «европейская» – позитивно. Группа поэтов и писателей, объединившихся в 1917–1918 гг. для издания альманаха «Скифы», под влиянием идей Ницше и Владимира Соловьева, а также под влиянием трагического опыта мировой войны занялась переоценкой двух компонентов русской идентичности. Результатом этой переоценки явилось рождение «скифского» (евразийского) мифа как художественного отражения опыта мировой войны и революции. В дальнейшем этот миф послужил для группы русских ученых-эмигрантов материалом для выработки евразийской идеологии.

Ключевые слова: евразийство, внутренняя Азия, идентичность, революция, революционная стихия, Первая мировая война, русский символизм.

DOI: 10.17212/2075-0862-2017-4.2-85-97

Евразийство как идеология, политическое движение и концепция культурно-исторической специфики России возникло в начале 20-х гг. прошлого века в среде русских эмигрантов. Но истоки евразийства – его, так сказать, «пренатальный» этап формирования – надо искать в более раннем периоде.

Евразийство, по мнению большинства исследователей, есть плод Первой мировой войны и революции. Выявлению его идей-

ных истоков посвящены сотни работ, но до сих пор мало кто уделял внимание социальным корням евразийства. Цель данной статьи – восполнить указанный пробел и проследить генезис евразийства от момента его зарождения в качестве *мифопоэтического обра-*за революционной стихии до момента начала его оформления и рационализации в *евразийский миф* и *евразийскую идеологию*.

В работе «Наследие Чингисхана», изданной в 1925 г., основоположник и глав-

ный теоретик евразийства Николай Трубецкой писал: «На русских физиономиях, раньше казавшихся чисто славянскими, теперь замечаешь что-то тоже туранское; в самом русском языке зазвучали какие-то новые звуко сочетания, тоже “варварские”, тоже туранские. Словно по всей России опять, как семьсот лет тому назад, запахло жженым кизяком, конским потом, верблюжьей шерстью – туранским кочевьем. И встает над Россией тень великого Чингисхана, объединителя Евразии» [25, с. 261]. К моменту появления этих строк Трубецкой уже несколько лет жил за границей, но в них чувствуется живое дыхание революционной стихии, личный опыт всматривания в физиономию «революционных масс», вслушивания в «музыку революции», вдыхания специфического аромата «кочевого» революционного быта.

Будущие евразийцы были не единственными, кому открылся или «привиделся» *евразийский лик* русской революционной стихии.

*Миллионы вас. Нас – тьмы и тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!*

Эти строки Александра Блока широко известны. Однако лишь немногие знают, что в них отражено специфическое восприятие революции и революционной стихии, характерное для целой группы авторов – писателей, поэтов, публицистов. В истории русской литературы эта группа известна под именем «Скифы». Так назывался литературный альманах, два номера которого были изданы в 1917 и 1918 гг. в Петрограде. Идейным вдохновителем и организатором этого литературного проекта был публицист Р.В. Иванов, извест-

ный под псевдонимом Иванов-Разумник. В альманахе публиковались произведения А. Блока, А. Белого, В. Брюсова, С. Есенина, Н. Клюева, А. Ремизова, М. Пришвина, Е. Замятина и др.

На деле, как доказывает в своих работах литературовед Е.В. Иванова, никакого идейного единства, никакой организационной структуры, подразумевавшей официальное членство в группе, у «скифов» не было [10]. Но было бы опрометчиво и неверно, отрицая факт существования «скифов» как организованной группы и как литературного направления, в то же время отрицать «скифство» как явление литературной и общественно-политической жизни революционной России.

Встреча таких разных и во многих отношениях далеких друг от друга поэтов и писателей под обложкой одного альманаха была отнюдь не случайной. Эти авторы представляли небольшую часть творческой интеллигенции, которую завораживал и притягивал грозный, разрушительный, вселяющий ужас евразийский лик революционной стихии, рождая эстетически-экстатическое состояние восторга и преклонения перед ним. «Мы ведь скифы... – писал в июне 1917 г. Сергей Есенин, – а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам ... песня да костер Стеньки Разина» [10, с. 111].

В 1918 г. Алексей Ремизов опубликовал поэму в прозе, которую назвал «Слово о гибели Русской земли». И название поэмы, и некоторые строки в ней воскрешали в сознании читателя исторические образы XIII века, образы нашествия монгольских орд Батия: «Ты слышишь храп коня? Безумный ездок, что хочет прыгнуть за море из желтых туманов, он сокрушил старую Русь...» [20].

«Бичом Божьим» назвал свою незавершенную из-за ранней смерти повесть Евгений Замятин. Повесть не историческую, а символическую, где варварский Восток (странным образом напоминающий Россию) побеждал и уничтожал цивилизованный европейский Запад: «Все ждали новой волны – и скоро она пришла <...> она поднялась на Востоке и покатила на Запад, сметая все на пути. Но теперь это было уже не море, а люди. О них знали, что они живут совсем по-другому, чем здесь, в Европе, что у них зимой все бело от снега, что они ходят в шубах из овчины, что убивают у себя на улицах волков – и сами как волки. Оторвавшись от Балтийских берегов, от Дуная, от Днепра, от своих степей, они катились вниз – на юг, на Запад – все быстрее, как огромный камень с горы» [9, с. 41].

«Скифство» не было, разумеется, ни творческим объединением, ни литературным направлением – в этом я согласен с Е.В. Ивановой. «Скифство» – это мгновенное, личностное, эмоционально-чувственное восприятие революции в ситуациях «лицом к лицу». Это мифопоэтическое переживание и художественно-символическое воспроизведение опыта революции как евразийской стихии – всемирного урагана, сметающего старый мещански-буржуазный мир.

Но являлось ли такое восприятие революции всецело субъективной игрой воображения группы литераторов, публицистов и социальных мыслителей? Разве в самом характере русской революции, в ее конкретно-событийном потоке не наличествовали какие-то специфические черты, служившие объективным основанием такого восприятия? И не было ли общественное сознание русской интеллигенции каким-то образом *подготовлено* к тому, чтобы выхва-

тить из калейдоскопа впечатлений не какой-либо иной, а именно *евразийский* лик революционной стихии?

С первых же дней и недель революция 1917 г. виделась русской интеллигенции как разгул *народной стихии*, вырвавшейся из-под контроля государственной власти. Встреча лицом к лицу с неуправляемой толпой, подавляющей численным превосходством и откровенной ненавистью к представителям социального «верха», была самым шокирующим опытом интеллигенции в февральские дни. Этим (в том числе) вторая русская революция резко отличалась от первой. Главными действующими фигурами в 1905–1907 гг. были интеллигент, студент, профессиональный революционер («агитатор», «бомбист») чаще всего из дворян, разночинцев или купцов. Интеллигент, представитель социального «верха», шел впереди, заслоняя собой фигуры рабочего, ремесленника, крестьянина. Первая русская революция, как справедливо указывали авторы «Вех» (1909), была интеллигентской. «Руководящим духовным двигателем ее, – писал С.Н. Булгаков, – была наша интеллигенция со своим мировоззрением, навыками, вкусами, даже социальными замашками. <...> Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции» [3, с. 41, 42].

В революции же 1917 г. интеллигенция была оттеснена представителями социальных «низов». Эту ее своеобразную черту отметил А.Ф. Керенский: «В авангарде политической жизни неожиданно оказалось подавляющее большинство населения, ранее лишенное каких-либо прав принимать участие в управлении страной. В то же время среднее сословие, которое до этого игра-

ло положительную и активную роль в экономической и политической жизни, было отброшено на задворки, а помещичья аристократия, столь тесно связанная со старым режимом, и вовсе исчезла» [14, с. 153].

Шок и бессилие интеллигенции перед лицом народной стихии ярко отразил в своих воспоминаниях Василий Шульгин. «Улица надвигалась и вдруг обрушилась... – передавал он свои впечатления от первого дня революции. – Эта тридцатитысячная толпа, которою грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха... И это случилось именно как обвал, как наводнение... <...> Я не знаю, как это случилось... Я не могу припомнить. Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прессиая в дверях, непрерывным врывающимся потоком затопляла Думу... <...> Жидким, вязким человеческим повидлом они залили Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением... <...> Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство... Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя... Увы – этот зверь был... его величество русский народ...» [26, с. 181, 182].

Сравнение восставшего народа со зверем, вырвавшимся на свободу, естественно для человека монархических убеждений, каким был Шульгин. Такое сравнение было типичным для всех представителей господствующих сословий в Европе XVIII–XIX веков и отражало, с одной стороны, их восприятие революционной стихии как

бунта социальной «черни», а с другой стороны, их презрение и страх по отношению к ней. Французские монархисты-консерваторы времен Великой революции видели в восставшем народе игроков, завсегда таев воровских притонов и кабаков, босяков и уличных девок; жаловались на то, что французский язык теперь загажен жаргоном «остроумничающих зеленщиц, языком горничных и проституток» [8, с. 14]. Следуя этой психологически понятной тенденции, русская аристократия, а затем и русская интеллигенция чем дальше, тем больше огрубляла, снижала, *примитивизировала* образ восставшего народа, низводя его до уровня тупой, бессмысленной и безжалостной природной стихии.

«Злоба озверевших людей», «дикий разгул неудержимой пугачевщины» – такие характеристики восставшему народу давал Председатель Государственной Думы М.В. Родзянко [22, с. 297, 326]. «Варварство», «безумная анархия и господство черни» – записывал в своем дневнике бывший московский голова князь В.М. Голицын [7, с. 53, 97]. «Бездарная, бессознательная бунтарская стихия» – вторил им кадет В.Д. Набоков [17, с. 38, 39]. «Скорее восставшие рабы, чем граждане» – делился впечатлениями В.И. Вернадский [5, с. 211]. «Я протолкался к рычащему за правду и увидел гориллу» – читаем в дневнике М.М. Пришвина [19]. «Гудящее, голодное зверье», «гориллы», «серые обезьяны», «опьяненная толпа варваров» – характеризовала в ноябре 1917 г. Зинаида Гиппиус революционный народ, который еще полгода назад казался ей милым и привлекательным [6, с. 158, 166, 183].

Бесконечной вереницей такого рода эпитетов образ революционной стихии снижается, примитивизируется в *биологиче-*

ском и социально-психологическом отношении. Подчеркиваются неразвитость и черты вырождения народной массы. Но по мере роста насилия, массовых репрессий, возникновения новых форм государственного принуждения, увеличения бедствий и страданий от голода, холода, коллапса городской инфраструктуры в восприятии революционной стихии всё чаще и чаще проскальзывают выражения и образы, фиксирующие во многочисленных ее текучих, нечетких и стремительно меняющихся ликах еще один, обладающий подчеркнутым этнокультурным своеобразием.

«Эти – из другого царства, из другого века, – писал Шульгин, – это страшное нашествие неоварваров, столько раз предчувствуемое и наконец сбывшееся... Это – скифы. Правда, они с атрибутами XX века – с пулеметами, с дико рычащими автомобилями... Но это внешне... В их груди косматое, звериное, истинно скифское сердце...» [26, с. 210]. «Бороться с ордой за свою жизнь бесполезно», – за день до большевистского переворота, 24 октября 1917 г., мрачно заметила Гиппиус [6, с. 139]. «Бродячими обитателями Скифии» назвал русский народ Пришвин [19].

Антропологическое своеобразие облика революционной стихии отражено также в стихах и в дневниковых записях И.А. Бунина. В 1916 г. предчувствие надвигающейся катастрофы вылилось у него в такие строки:

*Вот встанет бесноватых рать
И как Мамай всю Русь пройдет...*

Дневниковые записи Бунина 1917–1920 гг. полны этнологических аллюзий. «Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка – и, кто в лес, кто по дрова в сотни глоток: “вставай, подымайся, рабо-

чий народ!”. Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские; у мужчин все как на подбор преступные, иные прямо сахалинские» [4, с. 25]. В другом месте он пишет: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря» [Там же, с. 45]. Еще дальше Бунин восклицает: «А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, – сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме!» [Там же, с. 224].

Приведенные выше свидетельства ценны тем, что принадлежат не «скифам» и не будущим евразийцам, а людям *вне* евразийского круга. В отличие от французов, которые клеймили восставший народ как «варваров» и «дикарей» в социально-психологическом смысле, русские аристократы и интеллигенты зафиксировали *антропологическое* своеобразие революционной стихии, выхватив его из потока впечатлений и мгновенных образов.

Такое восприятие не было случайным. Признание того, что «русскость» обременена «азиатчиной», что в русском народе живут «две души» – европейская и азиатская, – имманентно присутствовало в русском общественном сознании на протяжении всего XIX века, порой находя выражение в литературных произведениях, в философских текстах, в исторических сочинениях. В конечном счете оно превратилось в клише «поскреби русского – найдешь татарина», ставшее неотъемлемым компонентом русской идентичности и ментальности.

Представление о «двух душах» русского народа и сложносоставной характер русской идентичности вкупе с негативной оценкой «азиатчины» («варварского» нача-

ла в русской государственности и культуре) служили основой для *когнитивной перцепции* революционной стихии как восстания «внутренней Азии» против «внутренней Европы». Вот почему и Шульгин, и Гиппиус, и Пришвин, и Бунин, и многие другие представители русской интеллигенции увидели в революционных массах не просто «варваров», а именно «скифов», «монголов», «азиатов», «туранцев». Этому способствовали также заметные *культурно-антропологические различия* во внешнем облике народных масс и интеллигенции. В городской народной среде было много представителей смешанного антропологического типа с бросающимися в глаза монголоидными чертами. Немало среди них было и чистокровных азиатов. К примеру, русская армия в годы Первой мировой войны насчитывала около миллиона мусульман, которые затем наряду со славянами были вовлечены в революционный процесс [15, с. 63]. Кроме того, рабочие и солдаты, как правило, не носили бороды, являвшейся общераспространенным атрибутом и образованных слоев той эпохи, и низшего класса (крестьянства). Отсутствие же бороды при встрече «лицом к лицу» с народными толпами неосознанно «считывалось» *бородатой* русской интеллигенцией и аристократией как вторичный антропологический признак «монголоидности».

Когда в феврале 1917 г. эта «внутренняя Азия» затопила улицы Петрограда, Москвы и других крупных городов, тысячи и тысячи лиц людей – враждебных, чужих, ведущих себя как «орды дикарей» – слились в восприятии интеллигенции в один *евразийский образ* или *евразийский лик* революционной стихии. Это было *спонтанной* реакцией сознания или *когнитивной перцепцией*, основанной на целостном разностороннем син-

тезе, включающем до-логические компоненты.

Но были также и другие факторы, которые дополняли, усиливали и закрепляли первые впечатления от революционной стихии как стихии евразийской.

Можно спорить, верна ли характеристика Российской империи как «тюрьмы народов». Но бесспорен тот факт, что революция уже с первых ее шагов открыла «шлюзы» для проявления национально-культурных и национально-политических устремлений этих народов. «Заговорили вдруг все языки», – отмечал А.И. Деникин [15, с. 57]. Революция не только перевернула и перемешала социальные «пласты», но также вовлекла в активную деятельность «инородцев» – нерусские народы Российской империи, которые ранее размещались на периферии социально-политического пространства Российского государства. «Азиатские и прочие задворки, – пишет современная исследовательница Т.Ю. Красовицкая, – вдруг выдали на-гора жесткие претензии одряхлевшей византийской политической системе, а этнополитические движения стали важнейшей частью дизайна 1917 года» [Гам же, с. 394].

Большевики же, придя к власти, сознательно опирались на инородческие элементы, в частности, на вооруженные формирования латышей, китайцев, башкир и пр. В годы Гражданской войны в Красной армии воевало до 40 тысяч китайских бойцов, отличавшихся не только высокой дисциплиной, но также исключительной жестокостью по отношению к противнику и к гражданскому населению. А башкирскую красную конницу председатель РВСР Л.Д. Троцкий специально перебросил в Петроград, чтобы, как он пишет, «напугать финляндскую буржуазию призраком баш-

кирского нашествия» [24, с. 157]. Впрочем, конные башкиры, скачущие по улицам Петрограда, пугали не столько финнов, сколько мирных жителей города.

К этому следует добавить, что фронты в годы Гражданской войны были крайне подвижны, а основной ударной силой служили крупные кавалерийские соединения – корпуса, армии, насчитывавшие десятки тысяч всадников. Их вид воскрешал в сознании русской интеллигенции, как справедливо указывает В.К. Кантор, историческую память об «ударной силе Степи, кочевниках, варварах, вновь обрушившихся на цивилизацию городов» [12, с. 40].

Да и сама большевистская верхушка представляла такой этнический винегрет, что ее воспринимали как «нерусское», «варварское», «кочевое» правительство, захватившее власть в стране. В эпицентре же революционного урагана, по образному выражению А.М. Ремизова, «взвихрившего Русь», находился человек, явивший подлинное воплощение евразийской стихии. Человек, в ком «действительно смешались все «крови»: германцев, семитов, монголов и славян» [16, с. 62]. Монголоидные черты во внешности Ленина и впрямь бросались в глаза. «Он был лыс, с рыжеватой бородой, монгольскими скулами и неприятным выражением лица» – так передала свое первое впечатление о лидере большевиков Татьяна Алексинская [18, с. 19]. «Это вредный тип, и никогда не знаешь, какая дикость взбредет в его татарскую бапку» – отзывался о Ленине в период разрыва с ним отношений Леонид Красин [18, с. 64]. Карикатуры знаменитого в годы революции художника Дмитрия Мора, гротескно подчеркивая монголоидные черты во внешности Ленина, также вносили свою лепту в формирование *евразийского облика* большевистской власти.

Опыт революции – это также и опыт перемещения на большие расстояния громадных людских масс. Миллионы дезертиров хлынули в 1917–1918 гг. с фронта в тыл, запрудив железнодорожные вокзалы и привокзальные площади. В годы «военного коммунизма» голод и безработица погнали заводских рабочих с их семьями в деревню, а оборотистых деревенских торговцев («мешочников»), так же как и участников различных бандитских паек, в города. Смертельная угроза, нависшая над образованными классами: дворянством, буржуазией, чиновниками и интеллигенцией, превратила их самих в беженцев, «кочевников». Бросая дома, квартиры, накопленное добро, они пробирались, зачастую тайком и по поддельным документам, на окраины России, где шло формирование антибольшевистских правительств и армий. Ехать приходилось в битком набитых поездах, после многочасового или даже многодневного ожидания на вокзалах, после «штурма» вагонов лезущей в них озверелой толпой. Образ этого нового русского кочевья живо запечатлен в одном из стихотворений Максимилиана Володина (1919):

*Так спят они по вокзалам,
Вагонам, платформам, залам,
По рынкам, по площадям,
У стен, у отхожих ям:
Беженцы из разоренных,
Оголодавших столиц,
Из городов опаленных,
Деревень, аулов, станиц,
Местечек: тысячи лиц...
II социальный мессия,
II баба с кучей ребят,
Офицер, налетчик, солдат,
Спекулянт, мужик –*

Вся Россия!

Тысячи представителей русской интеллигенции, подавшиеся в бега (в том числе и будущие евразийцы), с теми или иными вариациями проделали опасный и мучительный путь из Москвы и Петрограда на окраины России, чтобы в конце концов попасть за границу. У многих этот опыт растянулся на годы. «Нашим едва остывшим кочевьем» назвал Россию в начале 20-х гг. Сергей Есенин [13].

Таким образом, восприятие революции как евразийской стихии, в которой смешались русские, азиатские и европейские этнокультурные компоненты, было подготовлено, с одной стороны, издавна сложившимся в общественном сознании русской интеллигенции концептом «двух душ» русского народа, а с другой стороны, рядом специфических черт, имевших место в революционной повседневности.

Конечно, этот образ, это видение революционной стихии бытовали в сознании образованных людей наряду с другими ее многочисленными образами. Поток чувственно-эмоциональных впечатлений, переживаний, точно в калейдоскопе, заменял один лик революционной стихии другим – и так снова, и снова, и снова... Но лишь некоторые представители интеллигенции придавали евразийскому лику большее значение, нежели другим, и пытались его художественно или теоретически осмыслить.

Концептуализация и символизация образа революционной стихии как стихии евразийской восходит к апокалиптическому пророчеству Владимира Соловьева о грядущей победе Востока над Западом, которая должна стать «увертной» к грандиозной космической драме пришествия антихриста и конца света. Страх перед «желтой опасностью» («панмонголизмом») от Соловьева передался его духовным наследникам,

религиозным философам С.Н. Булгакову и Н.А. Бердяеву и в еще большей мере поэтам-символистам Андрею Белому и Александру Блоку. Но угроза «внешнего» Востока была постепенно вытеснена в их сознании угрозой, исходившей от «внутреннего» Востока.

Это произошло главным образом под влиянием первой русской революции. Булгаков уже в то время разглядел евразийское обличье революционной стихии и предостерегал русскую интеллигенцию от недуманного и неосторожного стремления пробудить ее. «Разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев, – писал он в статье для сборника «Вехи», – освобождает в нем темные стихии, которых так много в русской истории, глубоко отравленной злой татарщиной и инстинктами кочевников-завоевателей» [3, с. 79]. Эту же мысль повторил в 1917 г. Бердяев: «Русский большевизм и максимализм есть порождение азиатской души, отвращающейся от западных путей культурного развития и культурного творчества» [1, с. 518].

Для Булгакова, Бердяева, как и для большинства представителей русской интеллигенции, «внутренний» Восток, т. е. всё, что в русской культуре и в русской ментальности так или иначе опознавалось как «азиатское», «татарское», «кочевое», имело негативную оценку. В противоположность этому «скифство» осуществило как бы аксиологическую переполосовку «европейской» и «азиатской» составляющей русской идентичности. В результате Брюсов, Блок и Белый неожиданно и к удивлению многих очутились в стане большевиков, словно в революционном «зазеркалье». Впрочем, неожиданность эта была кажущейся. «Скифство» отнюдь не было случайным эпизодом в произведениях и в житнетвор-

честве символистов (как, например, для Есенина, Клюева и Ремизова).

Русский символизм взрос на идеях Фридриха Ницше и религиозной мистике Владимира Соловьева. Ницшеанская традиция проявилась в символизме как экзистенциальный опыт погружения в стихию дионисийских чувств, дионисийского исступления, в котором субъективное исчезает до полного самозабвения. И революционная стихия была воспринята символистами как стихия дионисийская, в которую они были готовы броситься, подобно Эмпедоклу, бросившемуся в жерло вулкана. Брюсов еще в 1905 г. выразил эту готовность в стихотворении «Грядущие гунны»:

*Бесследно все гибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но тех, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.*

Влияние Владимира Соловьева сказалось в другом. Помимо увлечения мистикой «вечной женственности» Андрей Белый и Александр Блок были заворожены эсхатологией «панмонголизма». Они также под влиянием первой русской революции сместили внимание с Востока «внешнего», на Восток «внутренний». В поэтическом цикле Блока «На поле Куликовом» (1908) и в романе Белого «Петербург» (1913) опознан и художественно отражен не европейский и не славянский, но *евразийский* характер той «подземной» народной стихии, чей нарастающий гул был слышен кроме них пока еще немногим.

*Наш путь – степной, наш путь – в тоске
безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы – ночной и зарубежной –
Я не боюсь.*

В этом стихотворении уже угадывается будущий автор «Скифов», а поэтический цикл «На поле Куликовом» рассказывает, конечно же, не о далеком прошлом, а о близком будущем. Да и роман «Петербург» Андрея Белого – вовсе не о том, как некий сын возненавидел своего отца и решил взорвать его бомбой, полученной у террористов. «Петербург» – роман о неизбежной гибели той России, чьим символом является город на Неве, построенный Петром I. Это роман о гибели «европейской души» России, о гибели всего великого дела Петра и созданной им Российской империи. Но кто несет эту гибель? Ее несут восставшие из небытия «железные всадники Чингисхана», отдаленный топот коней которых слышится автору романа. Они – те самые *желтолицые* всадники Апокалипсиса, о которых пророчествовал незадолго до смерти Владимир Соловьев.

Следуя этому, уже сфокусированному определенным образом восприятию, символисты увидели революцию 1917 г. как прорвавшуюся из социальных «подземелий» и «катакомб» евразийскую стихию, несущую гибель старому миру, и ринулись в нее, по выражению Ф.А. Степуна, с «отчаянным энтузиазмом» [23, с. 438]. Немаловажную роль в этом головокружительном прыжке сыграла Первая мировая война. Бессмысленная бойня, принесшая гибель миллионам людей, поколебала у одних и разрушила у других веру в исторический прогресс, в поступательный характер развития европейской цивилизации. Эта цивилизация оказалась дискредитирована ужасами войны; более того, она стала восприниматься как худший вид варварства (по сравнению с «естественным» варварством нецивилизованных народов).

«Скифство», таким образом, явилось мифопоэтическим восприятием революции, в котором причудливо «сплавились» ницшеанство, религиозная мистика Владимира Соловьева и трагический опыт Первой мировой войны. Сами же «скифы» были, по выражению Вячеслава Иванова, «сновидцами» и мифотворцами. Именно им впервые открылось видение России-Евразии. И открылось оно как *мифопоэтический образ*, воплощенный затем художественными средствами в *мифопоэтический символ* и, наконец, в *евразийский миф* [2, с. 33–35]. Но миф еще не рассказанный, а только явленный в «Скифах» Александра Блока и также в произведениях других авторов. Например, в кошмарном видении Алексея Ремизова, где в метель, посреди ночного Петрограда Иванов-Разумник с пудовым портфелем в руках вопил голосом бесноватого: «Это вихрь! На Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир» [21, с. 163].

Зачарованность евразийской стихией, погружение в ее мифологию длились недолго. Уже в 1919–1920 гг. у «скифов» начинается отрезвление и высвобождение из мифологического плена. Замолк поэтический голос Блока. Андрей Белый и Иванов-Разумник отдали много сил учреждению «скифской» Вольной философской ассоциации (Вольфила) и участию в ее работе. Но от изначального «скифского» порыва, от его мифотворческой энергии в деятельности Вольфила почти ничего не осталось. «В 1917–1918, даже годом-двумя позже, — вспоминал Иванов-Разумник, — еще был скиф, а с 1921-го года его побе-

дил уже мещанин (в самом даже коммунизме) [11, с. 73].

Однако евразийский миф не умер вместе со «скифством». Группа ученых-эмигрантов, осевшая в Восточной Европе в начале 20-х гг., осуществила рационализацию этого мифа в политическую идеологию и в «теорию» культурно-исторического своеобразия России. Евразийцы и сами в известной мере были зачарованы евразийским ликом революционной стихии. Но всё же для них евразийский миф был скорее *материалом*, из которого они извлекали все возможные смыслы, чтобы затем сконструировать на этой основе идеологию и уложить их, словно кирпичи, в «здание» евразийства. Евразийство как политическая идеология и как концепция культурно-исторической специфики России восходит, следовательно, к евразийскому мифу, рожденному в процессе непосредственного, эмоционально-чувственного восприятия революционной стихии представителями русской интеллигенции.

Литература

1. Бердяев Н.А. Падение священного русского царства: публицистика 1914–1922 / вступ. ст., сост. и примеч. В.В. Сапова. — М.: Астрель, 2007. — 1179 с.
2. Бойко В.А. Философская мысль как дискурсивное со-бытие // Критика и семиотика. — 2009. — Вып. 13. — С. 28–40.
3. Булгаков С.Н. Геронизм и подвижничество // Вехи. Интеллигенция в России: сборники статей 1909–1910. — М.: Молодая гвардия, 1991. — С. 43–84.
4. Бунин П.А. Окаянные дни / предисл. В.П. Кочетова; подгот. текста и примеч. А.К. Бабореко. — М.: Советский писатель, 1990. — 128 с.
5. Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской, 1909–1940 / сост.: Н.В. Филиппова, В.С. Чесноков; отв. ред. Б.В. Левшин; Архив РАН. — М.: Наука, 2007. — 299 с.

6. Гиттиус З. Дневники. – М.: Захаров, 2002. – 364 с.
7. Голицын В.М. Дневник 1917–1918 годов / Князь Владимир Голицын. – М.: Захаров, 2008. – 386 с.
8. Державин К.Н. Борьба классов и партий в языке Великой Французской революции // Язык и литература. – 1927. – Т. 2, вып. 1. – С. 1–62.
9. Замятин Е. Бич Божий: повести. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 480 с.
10. Иванова Е.В. История возникновения и литературный контекст // Вольная философская ассоциация, 1919–1924 / изд. подгот. Е.В. Иванова; при участии Е.Г. Местергази. – М.: Наука, 2010. – С. 7–208.
11. Иванов-Разумник Р.В. О Петроградской Вольфиле 1921–1923 гг. // Вопросы философии. – 1990. – № 12. – С. 69–77.
12. Кантор В.К. Стихия и цивилизация: два фактора «российской судьбы» // Вопросы философии. – 1994. – № 5. – С. 27–46.
13. Кантор В. Является ли Россия исторической страной? [Электронный ресурс]. – URL: <http://magazines.russ.ru/slovo/2010/68/ka26.html> (дата обращения: 25.10.2017).
14. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: мемуары: пер. с англ. – М.: Республика, 1993. – 384 с.
15. Красовицкая Т.Ю. Этнокультурный дискурс в революционном контексте февраля – октября 1917 г.: стратегии, структуры, персонажи. – М.: Новый хронограф, 2015. – 416 с.
16. Лихоманов И.В. Евразийские мотивы в романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевского // Идеи и идеалы. – 2016. – № 4 (30), т. 2. – С. 51–65.
17. Набоков В.А. Временное правительство: (Воспоминания). – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 80 с.
18. Пайтс Р. Русская революция. В 3 кн. Кн. 1. Агония старого режима, 1905–1917. – М.: Захаров, 2005. – 480 с.
19. Пришвин М.М. Дневники [Электронный ресурс] // Электронная библиотека М.М. Пришвина. – URL: <http://www.elsu.ru/prishvin.html> (дата обращения: 25.10.2017).
20. Ремизов А. Слово о погибелли Русской земли [Электронный ресурс]. – URL: http://rvb.ru/remizov/ss10/01text/vol_5/02text/391.htm (дата обращения: 25.10.2017).
21. Ремизов А.М. Взвихренная Русь / вступ. ст. и лит. ист. коммент. В.А. Чалмаева. – М.: Советская Россия, 1990. – 400 с.
22. Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и февральская 1917 года революция. – М.: ИКАР, 2002. – 386 с.
23. Стегун Ф. Мистическое мировидение: пять образов русского символизма / пер. с нем. Г. Снежинской, Е. Керпак, Л. Маркевич. – СПб.: Владимир Даль, 2012. – 479 с.
24. Троицкий Л. Моя жизнь: опыт автобиографии. Т. 2. – М.: Книга, 1990. – 344 с.
25. Трубецкой Н.С. Наследие Чингизхана. – М.: Аграф, 2000. – 560 с.
26. Шульгин В.В. Дни; 1920: записки / сост. и авт. вступ. ст. Д.А. Жуков; коммент. Ю.В. Мухачева. – М.: Современник, 1989. – 559 с.

EURASIAN FACE OF THE REVOLUTION

I.V. Likhomanov

Novosibirsk Higher Military

Command School,

Novosibirsk, Russian Federation

graingar@yandex.ru

The article considers social and socio-psychological prerequisites of Eurasianism coming on the stage. Eurasianism emerged in the early twenties of the last century as an ideology and a political movement. But its social origin dates back to the earlier period. Eurasianism is a consequence of the world war and the revolutionary situation. The active participation of Caucasian and Asian peoples of the Russian Empire as well as some features of the revolutionary everyday routine formed a part of the Russian

intelligentsia's perception of the revolution as the Eurasian matter. This was facilitated by the complex nature of the Russian identity which comprised two hearts of the Russian peoples – European and Asian. The specificity of the Eurasian perception of the revolution was the reassessment of the European and Asian components of the Russian identity. In the Russian public consciousness of the nineteenth century the Asian component was perceived negatively, but the European one — positively. A group of writers and poets, who in 1917 and 1918 called themselves “The Scythians”, under the influence of Nietzsche and Vladimir Solovyev and under the influence of tragic experience of the First World War, re-evaluated the two components of the Russian identity. The result of this re-evaluation was the birth of a Eurasian myth as an artistic reflection of the experience of the world war and the revolution. This myth was used as the basis for the creation of Eurasian ideology by a group of Russian emigrant scholars.

Keywords: Eurasianism, inner Asia, identity, revolutionary situation, revolution, the First World War, Russian Symbolism.

DOI: 10.17212/2075-0862-2017-4.2-85-97

References

1. Berdyaev N.A. *Padenie svyashchennogo russkogo tsarstva: publitsistika 1914–1922* [The fall of the Holy Russian Empire]. Moscow, Astrel' Publ., 2007. 1179 p.
2. Boiko V.A. *Filosofskaya mysl' kak diskursivnoe so-bytie* [Philosophical thought as a discourse co-existence]. *Kritika i semiotika – Critique and semiotics*, 2009, iss. 13, pp. 28–40.
3. Bulgakov S.N. *Geroizm i podvizhnichestvo* [Heroism and selfless devotion]. *Vekhi. Intelligentsiya v Rossiï: sborniki statei 1909–1910* [Milestones. Intelligentsia in Russia. Collections of articles 1909–1910]. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 1991, pp. 43–84.
4. Bunin I.A. *Okayannye dni* [Cursed days]. Moscow, Sovetskii pisatel' Publ., 1990. 128 p.
5. Vernadskii V.I. *Pis'ma N.E. Vernadskoi, 1909–1940* [Letters to N.E. Vernadsky 1909–1940]. Ed. by B.V. Levshin. Archive of the Russian Academy of Sciences. Moscow, Nauka Publ., 2007. 299 p.
6. Gippius Z. *Dnevnik* [Diaries]. Moscow, Zakharov Publ., 2002. 364 p.
7. Golitsyn V.M. *Dnevnik 1917–1918 godov* [Diaries 1917–1918 years]. Knjaz' Vladimir Mihajlovich Golicyn; [bibl. och. E.G. Boldinoj; predsil. I.V. Golicyn]. Moscow, Zakharov Publ., 2008. 386 p.
8. Derzhavin K.N. *Bor'ba klassov i partii v yazyke Velikoi Frantsuzskoi revolyutsii* [The class struggle in the language of the French Revolution]. *Yazyk i literatura – Language and literature*, 1927, vol. 2, iss. 1, pp. 1–62.
9. Zamyatin E. *Bich Bozhi: povesti* [The scourge of God: stories]. St. Petersburg, Azbuka Publ., Azbuka-Attikus Publ., 2012. 480 p.
10. Ivanova E.V. *Istoriya vozniknoveniya i literaturnyi kontekst* [History and literary context]. *Vol'naya filosofskaya assotsiatsiya, 1919–1924* [Free Philosophical Association, 1919–1924]. Moscow, Nauka Publ., 2010, pp. 7–208.
11. Ivanov-Razumnik R.V. *O Petrogradskoi Vol'file 1921–1923 gg.* [Free-style Philosophical Academy of Petrograd 1921–1923]. *Voprosy filosofii – Russian Studies in Philosophy*, 1990, no. 12, pp. 69–77. (In Russian).
12. Kantor V.K. *Stikhiya i tsivilizatsiya: dva faktora “rossiiskoi sud'by”* [Disaster and civilization: two factors of Russian fate]. *Voprosy filosofii – Russian Studies in Philosophy*, 1994, no. 5, pp. 27–46. (In Russian).
13. Kantor V. *Yanhyaetsya li Rossiya istoricheskoi stranoi?* [Is Russia a historical country?]. Available at: <http://magazines.russ.ru/slovo/2010/68/ka26.html> (accessed 25.10.2017).
14. Kerenskii A.F. *Rossiya na istoricheskom povorote: memuary* [Russia in the historical turn: the memoirs]. Translated from English. Moscow, Respublika Publ., 1993. 384 p.
15. Krasovitskaya T.Yu. *Etnokul'turnyi diskurs v revolyutsionnom kontekste fevralya – oktyabrya 1917 g.: strategii, struktury, personazhi* [Ethno-cultural discourse in the revolutionary context of the February – October 1917: strategy, structure, characters]. Moscow, Novyi khronograf Publ., 2015. 416 p.

16. Likhomanov I.V. Evraziiskie motivy v romane "Chto delat'?" N.G. Chernyshevskogo [Eurasian motifs in the novel "What to do?" N.G. Chernyshevsky]. *Idei i idealy – Ideas and Ideals*, 2016, no. 4 (30), vol. 2, pp. 51–65.
17. Nabokov V.D. *Vremennoe pravitel'stvo: (Vospominaniya)* [Provisional government (the memoirs)]. Moscow, MSU Publ., 1991. 80 p.
18. Pipes R. *Russkaya revolyutsiya*. V 3 kn. Kn. 1. *Agoniya starogo rezhima, 1905–1917* [The Russian revolution. In 3 bk. Bk. 1]. Moscow, Zakharov Publ., 2005. 480 p. (In Russian).
19. Prishvin M.M. Dnevnik [Diaries]. *Elektronnaya biblioteka M.M. Prishvina* [Digital library M.M. Prishvina]. Available at: <http://www.elsu.ru/prishvin.html> (accessed 25.10.2017).
20. Remizov A. *Slovo o pogibeli Russkoi zemli* [Word about death of Russian earth]. Available at: http://rvb.ru/remizov/ss10/01text/vol_5/02text/391.htm (accessed 25.10.2017).
21. Remizov A.M. *Vzvikhrennaya Rus'* [Raised a storm Russia]. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1990. 400 p.
22. Rodzyanko M.V. *Krushenie imperii i Gosudarstvennaya Duma i fevral'skaya 1917 goda revolyutsiya* [The collapse of imperia and Russian Parliament in the February revolution of 1917]. Moscow, IKAR Publ., 2002. 386 p.
23. Stepun F. *Misticheskoe mirovidenie: pyat' obrazov russkogo simbolizma* [The mystical vision of the world: five images of Russian symbolism]. Translated from German. by G. Snezhinskaya, E. Kerpak, L. Markevich. St. Petersburg, Vladimir Dal' Publ., 2012. 479 p.
24. Trotskii L. *Moya zhizn': opyt avtobiografii*. T. 2 [My life: experience autobiography. Vol. 2]. Moscow, Kniga Publ., 1990. 344 p.
25. Trubetskoi N.S. *Nasledie Chingizkhana* [The legacy of Chingiz Khan]. Moscow, Agraf Publ., 2000. 560 p.
26. Shul'gin V.V. *Dni; 1920: zapiski* [Days. 1920: notes]. Moscow, Sovremennik Publ., 1989. 559 p.